

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СЕМЬ ЛЕТ РЯДОМ СО ЛЬВОМ ГУМИЛЕВЫМ

Несомненно, одним из самых моих светлых жизненных воспоминаний была встреча в 1949 году с замечательным русским ученым и яркой человеческой индивидуальностью Львом Николаевичем Гумилевым. Встреча эта произошла в обычных для той эпохи местах встреч миллионов людей, а именно: за колючей проволокой гугаговской империи в поселке Чурбай-Нура близ Караганды. Судьба милостиво предоставила мне возможность в течение последующих семи лет, вплоть до нашего освобождения в 1956 году, жить в одном лагерном бараке бок о бок, а порой и на одних нарах. Поэтому не могу отказать себе в удовольствии и, более того, считаю своим долгом рассказать о том, что сохранила моя память о жизни этого выдающегося человека.

Во всякого рода жизнеописаниях полагается начинать с первой встречи и с первых впечатлений. Но, увы, таковых не было. Ибо разве может сохранить память бесчисленные этапы из лагеря в лагерь в толпе мельтешащих перед глазами одинаковых серых фигур, ни с одной из которых не успеваешь перекинуться даже двумя-тремя словами? Лишь после того, как Судьба, материализованная в виде чекистского начальника с блеклым лицом и водянисто-бесцветными глазами, предназначает заключенному место среди десятков других таких же, как и он, наступает время человеческого знакомства и определения, в какую же компанию ты попал и с кем тебе впредь придется коротать время.

Как-то один из моих соседей по нарам, придав своему лицу выражение значительности, прошептал мне в ухо сдавленным шепотом:

— А вон глянь на мужика на том конце стола! Это сын Гумилева и Анны Ахматовой!..

Я глянул в указанном направлении, но там сидело несколько «мужиков», и кто же из них сын Гумилева и Ахматовой, определить было трудно. Впрочем, мне это ни о чем не говорило: обе фамилии я слышал впервые в жизни.

Мое невежество объяснялось очень просто. Я учился в обычной советской средней школе, и эти фамилии никогда там не упоминались — ни на уроках литературы, ни в учебниках по литературе. На них был наложен запрет. Теперь в это трудно поверить, но в те времена вся жизнь советских людей была густо нашпигована такого рода табу. На людей, на жизненные обстоятельства, на исторические факты. Для «забывчивых» советская власть предусмотрела статью уголовного кодекса 58, пункт 10 со сроком наказания — десять лет лагерей. Миллионы таких «забывчивых» или наивных людей заплатили за свою непонятливость собственной жизнью, ибо времена были суровые и домой после десяти лет заключения редко кто возвращался. Зато для других, понятливых, это служило хорошим уроком. К примеру, в школьном коридоре годами висели портреты героев гражданской войны. Тухачевский, Блюхер, Егоров и другие. О них же писалось в учебниках истории, в романах, стихах, множество раз их имена звучали по радио или мелькали в газетах. Но вот однажды все приходит в школу и видят, что их портреты со стены исчезли. Всё! Во всех учебниках ученики старательно вымарывают жирными чернилами их фамилии, фотографии заклеивают бумажками, любые факты, связанные с этими именами, выбрасывают из головы. Ибо уже в раннем возрасте советский человек хорошо знал, что такое табу, и соблюдал его неукоснительно.

Впрочем, все вышеописанные обстоятельства, так же как и имена родителей Льва Николаевича, к моему с ним знакомству не имели ни малейшего отношения. Просто так получилось, что во всех последующих лагерных перемещениях я и он оказывались в одном этапе, а потом в одной бригаде и в одном бараке. Чисто случайно. Вообще-то чекистскому начальству постоянно мерещились среди заключенных всякие заговоры, групповые побег, создание каких-то организаций, и для пресечения всего этого зеков перевозили с места на место, тасуя их, как колоду карт. Но то ли наши две карты слиплись, то ли у чекистов просто не хватало рук

для более тщательной перетасовки колоды — нас это не коснулось. И теперь мне есть что вспомнить...

Одна из особенностей человеческих взаимоотношений в лагерной среде состояла в том, что каждый человек там как бы нравственно раздевался донага. Все прошлое с него удалялось, как одежда в предбаннике. Прошлый социальный статус, положение на служебной лестнице, профессия исчезали, как легкое облачко пара с раскаленной сковородки. Нравственное лицо заключенного как бы начинало рисоваться сызнова. И личный авторитет среди всех остальных тоже. И в этом отношении, казалось бы, у Льва Николаевича могли возникнуть трудности. В частности, из-за его физических данных. Рост — средний. Комплекция — отнюдь не атлетическая. Пальцы — длинные, тонкие. Нос с горбинкой. Ходит ссутулившись. И в дополнение к этим не очень убедительным данным Гумилев страдал дефектом речи: картавил, не произносил буквы «р». Это теперь на такую индивидуальную особенность могут не обратить внимания. В те же далекие времена, когда кругом на государственном уровне искали «врагов народа», когда каждого человека изучали на предмет выяснения, а кто он такой, не замаскировавшийся ли контрик, не чуждого ли классового происхождения, картавость привлекала внимание и наводила на ассоциации, опасные для картавящего. И в самом деле. Кто картавит? Из какой социальной среды происходят картавые? Объяснение, что человек картавит по вине родителей, вовремя не пригласивших логопеда и не исправивших речевой дефект, отлетало с порога. Ибо всему на свете в те времена давалась политическая оценка. Так что с такой точки зрения означала картавость? Во-первых, принадлежность к дворянскому сословию. Именно дворяне чаще остальных не выговаривали букву «р». А раз так, то картавящий относился к числу «недорезанных буржуев», случайно упущенных в предыдущие десятилетия «революционного романтизма». То, что сам Ленин откровенно картавил, никак не отражалось на судьбе остальных картавящих. Тысячи их были расстреляны на месте на улицах городов патрулями революционных солдат и матросов, другие тысячи сгнули в лагерях, и все только из-за того, что не выговаривали букву «р».

Второй группой населения, страдавшей подобным же дефектом речи, были евреи. И хотя советская власть первые десятилетия своего владычества делала все, чтобы вытравить из общества признаки антисемитизма, на бытовом уровне он все равно оставался, в особенности среди уголовников. И иногда давал о себе знать. Об этом рассказу позже.

И вот, несмотря на такой, казалось бы, внушительный перечень неблагоприятных свойств, Гумилев пользовался среди лагерного населения огромным авторитетом. Во всех бараках у него были хорошие знакомые, встречавшие его с подчеркнутым гостеприимством.

Теперь еще об одной черте характера Льва Николаевича. Конечно, его устная речь была во всех отношениях образцовой русской речью. Интеллигент и петербуржец по рождению и воспитанию, он никогда не допускал неправильных ударений в словах, неправильного произношения или иных отклонений от канонов литературной речи. Приятно было слушать звучание его речи в научных спорах с коллегами, и всегда замечалось отличие его произношения от произношения провинциалов, пускай вполне образованных. Но в то же время совесть искреннего повествователя не позволяет мне уклониться от упоминания о другой особенности языка Льва Николаевича. Он не был интеллигентским чистоплюем и совсем не чурался разнообразия народной речи. Короче говоря, он употреблял матерщину и владел ею прямо-таки виртуозно. Обыкновенному малокультурному человеку матерщина помогает изъясняться и передавать свою мысль при недостатке словарного запаса. Скабрзные слова и обороты употребляются в качестве значков — заменителей недостающих понятий. Слушатель домысливает услышанное, оставляя без внимания прямое значение слов. Лев Николаевич употреблял такие выражения (в тех случаях, конечно, когда считал нужным их употреблять) совсем для другой цели. Матерщина как бы присаливала и приперчивала скучное течение литературной речи, украшала ее некими словесными гирляндами, совершенно неожиданными в своей комбинаторике и вычурности, так что не раз приходилось слышать возторженную реплику слушателя: «Во загнул Лев Николаевич!»

Впрочем, Лев Николаевич очень тонко разбирался в том, в какой аудитории он находится и каким языком с ней можно разговаривать.

Чтобы глубже постичь яркую человеческую индивидуальность Гумилева, стоит сравнить образ его жизни и остальных заключенных. Исходные условия для всех

совершенно одинаковы. Разница в сроках — деталь несущественная, на поведение людей никак не влияющая. Так чем же занимались все зеки весь срок своего заключения? Все, кроме Льва Николаевича? Они «отбывали срок наказания», выражаясь казенным языком. День за днем, неделя за неделей, год за годом... В этом и состоял смысл их существования, а дата освобождения светила им, как маяк в ночи. А чем же занимался Лев Николаевич все эти годы? Он работал над своей научной идеей. Над пассионарной теорией — все семь лет нашей совместной жизни в лагере. Эта идея так его увлекала, так заполняла его жизнь, что окружающая обстановка — решетки на окнах бараков, конвоиры с собаками, забор с колючей проволокой — его не беспокоила. Все это относилось к мелочам жизни.

Ко времени нашего знакомства общая обстановка и условия жизни заключенных в лагере существенно изменились в лучшую сторону по сравнению с прошлыми годами. После прихода с работы и ужина у работяг еще оставались и время, и силы, и желания для разных личных дел, развлечений и, самое главное, для разговоров. Лагерь того времени был полон интересных людей, и каждый вечер в разных углах барака в полутемном пространстве, где верхний ярус нар затемнял свет электрической лампочки, собирались группки людей и вели беседу. Разговоры и споры шли обычно на политические, научные, иногда на литературные темы. Кружком было достаточно людей, которые имели что рассказать, и не меньше тех, кто с радостью и интересом их слушал. Самые регулярные и самые многолюдные кружки собирались вокруг Льва Николаевича. И было из-за чего. Познания Гумилева в области гуманитарных наук были поистине энциклопедические, а память просто феноменальная. В части истории у него, по моему убеждению, не было каких-то секретов или неясностей. Фактическим материалом он владел мастерски. Географические названия, точные даты вплоть до чисел и дней недели, имена и биографические описания участников исторических событий, бытовые детали и разные житейские подробности прошедших эпох, так оживляющие и украшающие рассказы, сыпались на слушателей как из рога изобилия. О походах Чингисхана, об испанской конкисте, о китайских династиях Мин, Тай и прочих до глубокой древности, о викинггах и их походах, о тридцатилетней войне, об индейцах доколумбовой Америки он рассказывал подробно, доходчиво и интересно.

Трудно представить себе, сколько томов всяких Моммзенов, Тойнби, Тацитов, Ключевских он прочитал, и не только прочитал, но и запомнил текстуально, цитируя иной раз из авторов исторических исследований или из «Повести временных лет» и китайских хроник тысячелетней давности. История для Льва Николаевича не была каким-то отвлеченным знанием дат и событий, чем-то давно от нас ушедшим, о чем можно только вспоминать. Нет, он жил в этих эпохах всем своим существом, был непосредственным участником всех давно прошедших событий и к каждой исторической персоне относился, как к своему современнику.

Но не только история была его коньком. Во многих других гуманитарных науках он тоже обладал фундаментальными познаниями. В философии, например, он прекрасно ориентировался в учениях Спинозы, Конта, Френсиса Бэкона и уж не знаю, кого еще. И опять же не как-нибудь поверхностно. Всех их, а также Платона и Аристотеля, он цитировал обширными отрывками. Так что, когда на таких посиделках случалось присутствовать специалистам-философам, в возникавшей дискуссии Лев Николаевич участвовал как равный, а порой даже явно одерживал верх.

Его познания в религиозной догматике тоже были обширны. Он знал и цитировал Ветхий и Новый Завет, рассказывал о содержании Талмуда и Каббалы, хорошо ориентировался в вопросах раскола в православной церкви, равно как и во всяких ересях, в католическом и прочих западных вероучениях.

Порой среди собравшихся оказывалось больше любителей литературы и поэзии, и в глубине барака начинался литературно-поэтический вечер с чтением стихов. И тут Лев Николаевич не имел себе равных по объему поэтических знаний. Он читал наизусть стихи Н. Гумилева, А. К. Толстого, Фета, Баратынского, Блока, каких-то совершенно неизвестных мне имажинистов и символистов, а также Байрона и Данте. Причем не какие-нибудь отрывки, а целыми поэмами. Так, он два вечера подряд читал «Божественную комедию». Вот только не могу вспомнить, читал ли Лев Николаевич стихи своей матери, Анны Ахматовой... Я могу засвидетельствовать, что и сам Лев Николаевич был поэтом, и очень сильным поэтом. Частыми читал он нам (опять же наизусть) стихотворную драму о Чингисхане. Вернее, о трагической судьбе и несчастной любви его старшего сына Джучи. Читал сати-

рическую поэму, которая, по его словам, входила в обвинительный материал во время его первого ареста, еще до войны. Увы! Похоже, он задавил в себе поэта ради ученого-этнографа. А возможно, он был чересчур строг к себе и считал свой поэтический талант ниже таланта своих родителей, а оказаться на вторых ролях не позволяло ему обостренное самолюбие. Во всяком случае, после лагеря я уже ни разу ничего не слышал о Гумилеве-стихотворце...

Для Льва Николаевича эти семь лагерных лет были, повторяю, временем интенсивной работы над своей пассионарной теорией. Собственно, задумал ее он раньше, до лагеря, но именно теперь он ее разрабатывал, уточнял, детализировал, оттачивал в спорах с оппонентами и сомневающимися. Особенно интересно было оказаться свидетелем такого научного спора. Из других барачков приходили профессора истории или философии из университетов Варшавы, Риги, Софии, и разгорался яростный спор. В таких случаях Лев Николаевич входил в раж и швырял в оппонента целыми пачками доводы, доказательства, исторические факты, цитаты из письменных источников или высказывания великих людей. В большинстве случаев оппонент сникал, чувствовалось, что ему нечем крыть, и наконец с кислой миной на лице удалялся... А Лев Николаевич с нескрываемым удовлетворением потирал руки и резюмировал:

— Вот и этот херр профессор ничего не смог возразить по существу!.. Все его несогласия только на уровне эмоций.

При всем при этом необходимо иметь в виду, что, по условиям лагерного режима, ни одной строчки нельзя было записать на бумаге. При частых шмонах любые рукописные материалы чекистами конфисковывались, а их автор в таком случае сажался в карцер. Послабления в этом вопросе появились позднее, за год или за два до освобождения. Волей-неволей Льву Николаевичу приходилось складывать весь получаемый в ходе работы материал в свой природный сейф, иначе — в свою память, чтобы потом, выйдя на волю, использовать его для создания книги. Я прочитал этот капитальный труд с изложением пассионарной теории («Этногенез и биосфера Земли»). В нем пятьсот страниц, и я готов засвидетельствовать: все, что там написано, уже было обдуманно, обговорено и пропущено через сито критических высказываний в эти самые лагерные годы. Но мало того. В те же семь лет Лев Николаевич создал еще один труд — историю древних тюрков и тоже сложил весь полученный материал в свой «сейф», чтобы после освобождения написать книгу.

Невольной приходит в голову мысль, что все это могло бы стать исходным материалом для изучения физиологических возможностей человеческого головного мозга, природы памяти и ее пределов. Тем более что сейчас существует механический аналог этого явления с четкими научными дефинициями и градациями. И кто может победить в этом странном соревновании (если задаться такой целью), еще очень большой вопрос. Тем более что машина просто складывает информацию или, самое большее, производит с ней ограниченное количество наперед заданных тем же человеческим мозгом манипуляций, тогда как сам мозг перерабатывает информацию творчески, то есть в совершенно непредсказуемом заранее направлении, получая совершенно неожиданные результаты.

Естественно, может возникнуть вопрос: а как Гумилев создавал свои книги, пусть и мысленно? Какие для этого у него были исходные материалы? Из каких источников? Откуда черпал необходимое количество фактов? Конечно, основным резервуаром для создания теории служили все накопленные им в прошлые годы знания. Я уже говорил, что эти знания были огромны и заменяли собой целую библиотеку. Но и в условиях лагеря он находил пути пополнять свои знания. Во-первых, это были книги. Само собой разумеется, в лагере никакой библиотеки, тем более научной, не было и в помине. И все-таки в распоряжении Гумилева имелись по крайней мере две книги, очень помогавшие ему в работе. В частности, в создании книги «Хунну». Одна из них — книга нашего ученого-монаха начала XIX века Иакинфа (Бичурина), многие годы возглавлявшего русскую духовную миссию в Китае. Он перевел на русский язык средневековые китайские манускрипты, еще более древние летописи и другие исторические документы. Другая книга — советское академическое издание древних китайских документов. Лев Николаевич, когда вокруг него никого не было, читал то одну, то другую книгу. В тоске по печатному слову пытался сделать это и я, надеясь найти в них что-нибудь интересное. Но не одолел и полстраницы. И написано по-русски, и шрифт хоро-

ший, а ничего не поймешь. Набор слов. С таким же успехом я бы мог взяться и за китайский текст...

Во-вторых, источником новых знаний для Льва Николаевича был сам лагерь. Его обитатели. В лагере жили представители всех национальностей Советского Союза и очень многие из живущих за его пределами. В общем, подлинный интернационал. Чекистская метла подметала всех подряд...

Не знаю, каким образом и на каком языке Льву Николаевичу удавалось устанавливать первые контакты с заинтересовавшими его субъектами, но к нему на посиделки постоянно приходили разные нерусские личности, подчас весьма экзотические. Он угощал их чаем с чем-нибудь из своих посылков и вел неторопливую беседу. После своим соседям объяснял, что он «занимается эксплуатацией иностранных кадров ГУЛАГа». Многие из этих «кадров» остались в моей памяти.

Довольно долго его посещал скромный, тихий и красивый иранский юноша. Видимо, он очень страдал от чуждой обстановки, от чужого языка, которым он так и не смог за прошедшие годы овладеть, ну и, конечно, — от тяжести обрушившейся на него несчастной судьбы. А тут он мог услышать родную речь, поделиться чем-то своим, задушевым. Лев же Николаевич с помощью юноши усовершенствовал свое знание фарси, слушал стихи иранских поэтов. Юноша прежде учился в Тегеранском университете... А история его жизни была, можно сказать, абсолютно типичной для тех времен. В 1943 году, во время исторической встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля, одна из тегеранских гостиниц была целиком отдана советской делегации. А там работала знакомая (а может, и любимая) девушка этого юноши. Когда он однажды вечером пришел, как обычно, чтобы проводить ее домой, на него в вестибюле накинули мешок, связали и всунули кляп в рот. Потом куда-то несли, затем долго-долго везли, пока он не предстал перед следователем на Лубянской площади. Ему дали двадцать лет за шпионаж.

— Шпионаж в пользу какого государства? — поинтересовался Лев Николаевич. Юноша растерялся. Он не знал, что шпионаж обязательно должен быть в пользу какой-либо страны. Следователь забыл ему это объяснить, а сам он спросить даже не догадался.

Потом юноша исчез. Внезапно и тихо. Как всегда случалось в ГУЛАГе...

Одно время в число «клиентов» Льва Николаевича входил молодой китаец по имени Чен Чжу, что в переводе, кажется, означает «Золотой бамбук» (за точность перевода не ручаюсь). По-русски он говорил бегло, хоть и с акцентом. Схватили его в Харбине, когда туда пришла советская армия-освободительница. Он владел не то какой-то мастерской, не то конторой, где работали русские эмигранты, отчего и знал русский язык. Свои двадцать лет получил за шпионаж, на этот раз — в пользу американцев. По словам Льва Николаевича, Чен Чжу был образованным человеком, и главное, чем они по вечерам занимались, это просмотром двух уже упомянутых книг, где в изобилии встречались китайские иероглифы. Благодаря этому собеседнику Лев Николаевич уточнял детали подчас весьма важные.

Была среди гостей Гумилева и вовсе экзотическая личность. Настоящий буддийский лама, и не из какой-нибудь Бурятии и даже не из Монголии, а из Лхасы. Трудно было понять, каким образом он очутился в социалистическом отечестве. Русский язык он знал совсем плохо. Очевидно, он паломничал и в качестве паломника остановился в буддийском монастыре в Монголии. Тут друзья чекисты его и схватили. Был он старым, на общие работы не ходил, а дневалил в каком-то бараке. Лев Николаевич относился к нему с подчеркнутым уважением, заваривал чай покрепче и подносил кружку гостю с полупоклоном и каким-то приветствием на тибетском языке, чему был обучен самим гостем.

Раза два он после ухода гостя потирал руки от восторга и, обращаясь к соседу, говорил:

— Ну, скажите пожалуйста! Когда я, живя в Ленинграде, смог бы встретиться и поговорить за чашкой чая с настоящим буддийским монахом?.. Из самой Лхасы. Да никогда, проживи я хоть сто лет! Так что, если говорить по правде и положить руку на сердце, я обязан по гроб жизни быть благодарным нашим мудрым чекистам за то, что привезли меня сюда из Ленинграда, а этого ламу в это же время — сюда же из Монголии. И он мне только что рассказал интереснейшие подробности о перевоплощениях Будды!..

— Лев Николаевич! — обращался к нему кто-нибудь из соседей. — А как же это вы с ним беседуете? И как находите общий язык? Ведь вы недавно сами гово-

рили, что этот будда по-русски почти совсем не шпрехает, а сами вы и вообще ни бум-бум по-тибетски?

Лев Николаевич залиvisto смеется:

— Дорогой мой! Два ученых мужа всегда найдут общий язык. Это товарищи чекисты с гражданами зеками никогда такого не добьются, а ученый ленинградец с ученым дхасцем сумеют наладить контакт.

Однажды Лев Николаевич привел в барак не то тунгуса, не то эвенка-шамана с Индигирки или Подкаменной Тунгуски. Шаман оказался самым что ни на есть настоящим и знакомил Льва Николаевича с секретами общения со злыми и добрыми духами тайги и другими потусторонними силами. Лев Николаевич этим очень гордился и говорил соседям:

— Вот видите! С вами шаман не делится своими секретами, и правильно делает. Потому что вы все равно ничего не поймете, да вдобавок еще и не поверите. Так зачем с вами время терять? А я ему верю, и он это знает. А рассказывает он, кстати говоря, очень и очень интересные вещи.

Порой шаман входил в раж, выскакивал в проход между нарами и начинал подпрыгивать то на обеих ногах, то на одной, что-то выкрикивать, временами подвизгивать, вертя над головой крышку от посылочного ящика, заменявшего ему бубен. Лев Николаевич в таких случаях не спускал с него глаз, напрягался и подавался вперед, надо думать, мысленно повторяя телодвижения шамана. Прочая публика в бараке в такие минуты бросала свои дела и с любопытством наблюдала за происходящим. Никаких насмешек никогда не было. Народ в лагере деликатный, привыкший порой к самым неожиданным выходкам соседей. Мало ли что может прийти в голову человеку? Свободу у него отняли, так пускай в бараке отведет душу, как ему хочется... Мешать не надо, смеяться тем более.

Лев Николаевич так объяснял пляску шамана:

— Ну что тут особенного? Сотни, а может, и тысячи лет шаманы исполняли ритуальные танцы перед своими соплеменниками. И это было нужное и полезное занятие. А то, что сейчас советская власть всех шаманов переловила и за колючую проволоку посадила, совсем не значит, что тунгусам от этого стало лучше жить... Шаман худо-бедно и от болезни, то бишь от порчи, избавлял, и зверя привораживал. А как тунгусу без удачной охоты жить? Много чего хорошего делал шаман... Вот смотрю я на этот его танец и думаю: чем черт не шутит? Может, и мне пригодится?.. Вот его наша родная советская власть из северной тайги — да сюда, в казахстанскую степь, загнала. А там, глядишь, придет время — и меня на высылку из этой степи в северные края определят... Вот и пригодится тогда сегодняшний урок. Приобрету бубен и пойду по стойбищам злых духов гонять! Ха-ха! Все кусок медвежатины заработаю!.. Это когда еще советская власть спохватится да посадит меня по новой! Теперь уже по причине религиозного одурманивания масс!..

Но все же самыми частыми участниками всех таких посиделок были историки, журналисты, биологи, астрономы, философы и иной ученый люд, которые приходили, пили чай и вели разговоры. И никогда Лев Николаевич не был пассивным слушателем. Наоборот, он обладал особым даром в любой компании направлять беседу в нужное для себя русло. В основном с пользой для пассионарной теории. Лагерь в ту пору населяло множество интеллигентных, а то и понастоящему ученых людей, так что недостатка в собеседниках Лев Николаевич никогда не ощущал. Хочется хотя бы коротко рассказать о двух таких, закрепившихся в моей памяти.

Один из них — Борис Тимофеевич Меркулов. Типичный русский интеллигент дореволюционной формации. Спокойный, сохраняющий присутствие духа в любой сложной обстановке, с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Даже в ГУЛАГе было очень заметно, что малообразованные и интеллектуально неразвитые зеки как-то сникают и тушуются в присутствии Меркулова. В том числе и обычно наглые, бесцеремонные урки к нему никогда не приставали. Вкратце его история выглядела так: до революции в Киеве — газетный журналист. Что несут на своих штыхах большевики, для него было ясно, потому он эмигрирует в Ригу, где издает газету на русском языке. Но большевистские лапы дотянулись и до Риги, и вот Борис Тимофеевич сидит за колючей проволокой вместе с нами, вполне советскими людьми. В моей памяти он остался в связи с довольно интересным эпизодом. Дело было, уже не помню точно, то ли в декабре 1952, то ли в январе 1953 года. В общем, тогда, когда до нас дошли достаточно подробные известия об аресте кремлевских врачей и объявлении их «вредителями» и «врагами народа» То,

что это событие не является рядовым и означает начало новой серии судебных процессов типа процессов 30-х годов, было ясно всем. Все также заметили, что фамилии в списке врачей почти сплошь еврейские, и это породило недоумение. Неужто Сталин взялся за евреев, как Гитлер? До сих пор в народном сознании эта национальность связывалась с большевиками и советской властью. Евреи в большом числе занимали места на вершшке государственной пирамиды, и такое обстоятельство казалось прочным и незыблемым. А тут — на тебе!.. На вечерних лагерных посиделках событие обсуждалось и так и этак. Неужели и Каганович полетит? Как-то раз, в связи с этими разговорами, Борис Тимофеевич в узком кругу высказал совершенно неожиданную мысль:

— Одно могу сказать, дорогие друзья, с полной уверенностью: Сталину недолго осталось жить.

— Как? Почему? Какая тут связь?..

— А связь такая... В истории не раз бывало, когда какое-нибудь государство начинало на своих сиреев гонения. И кончалось такое всегда одним: власть, начавшая гонение, очень быстро терпела историческое фиаско. Как минимум можно привести два таких примера: Испания в позднем средневековье и недавний пример — нацистская Германия. Испанская инквизиция изгнала из страны всех евреев — и в исторически короткий срок Испания перестала быть мировой державой. Гитлер взял под ногу евреев — и мы видим, что произошло с ним и с Германией. Нельзя трогать евреев как нацию. Они слишком сильны во всем мире и такого никому не прощают. И как ни могуч наш Мудрый и Великий, ему даром такое не пройдет. Евреи еще после Освенцима не отдышались, а тут уже новый наклеивается. Нет, такого они не допустят.

Очень странно было слушать такие рассуждения. Странно и жутковато. Всю свою жизнь я прожил со Сталиным и до того привык, можно сказать, сроднился с фактом его существования, что мысль о его смерти просто не укладывалась в голове. Теоретически, разумом я, конечно, признавал такую возможность, но как реальность, которая произойдет при моей жизни, — нет. Уверен, что и большинство тогдашних сограждан точно так же не могли себе представить, что Сталин вдруг умрет. Его фигура переросла свою телесную оболочку и представлялась большинству как нечто божественное, погустороннее и потому смерти неподвластное. Оттого предсказание Бориса Тимофеевича, его спокойная уверенность в этом производили большое впечатление. И это предсказание тем более запомнилось, что осуществилось оно неожиданно скоро...

Другим постоянным собеседником на вечерних посиделках был Георгий Вильямович Ханна. Настоящий англичанин с туманного Альбиона — и при этом британский коммунист. В начале 30-х годов он добровольно приехал в СССР, на родину пролетарской революции, чтобы принять непосредственное участие в строительстве марксистского рая на земле. Немало было в те годы подобных романтиков! Судьба большинства из них была одинаково незавидной. В конце 30-х — арест, тюрьма, лагерь. Тогда им давали «божеские» сроки, то есть пять — семь лет. После войны они оказались на свободе (кто выжил, конечно), но ненадолго. В конце 40-х они «загремели» по второму кругу. Теперь срокá были десять, пятнадцать, двадцать лет. Иных по 58-й статье уже не существовало. В чем их обвиняли? Да в шпионаже, конечно. Что еще способны были выдумать тухлые чекистские мозги? Зачем приехал из Англии в СССР? Ясное дело: шпионить! Ни за чем другим оттуда сюда никто ехать не может. И следователям в голову не приходила вся убийственность такой логики. Выходило, что в такую страну, как СССР, никто добровольно, по зову сердца приезжать не станет. Выходило, что «родина пролетарской революции» в принципе не могла иметь друзей, единомышленников, бескорыстных помощников. А все, кто себя таковыми называл, на самом деле были врагами. Ох, сколько врагов было у советской власти!..

Имя у Ханны было Джордж Герберт. Отца звали Вильям. И потому он стал Георгием Вильямовичем, а Герберт вовсе исчезло. Внешность у него была чисто британская. Блондин с блестящими голубыми глазами и тяжелой челюстью. Курил он трубку, и когда сидел на бревнах, попыхивая ею, то очень походил на рыбака с какой-то не-то-голландской, не-то-английской старинной картины. Так подошла бы ему зюйдвестка, высокие сапоги с раструбом и морской пейзаж на заднем плане... По-русски он говорил совершенно свободно, но от чисто ангийского акцента избавиться так и не смог...

До сих пор речь шла о вечерних часах творческой деятельности Льва Николаевича. Но ведь место действия — все же лагерь принудительного труда. Каждый день Лев Николаевич вместе с остальными обязан был десять часов работать «на объекте». У нас такими «объектами» являлись строительные площадки. Не самые худшие места, по лагерным меркам. Шахты, карьеры, лесоповал считались гораздо более тяжелыми местами приложения рабского труда. Так что нам в этом отношении хоть немножечко, но повезло. И все же десять часов дневного времени приходилось заниматься физическим трудом. Вдобавок к этому — дорога туда, дорога обратно, подчас не ближняя. Сюда же надо добавить многократный пересчет наличия заключенных: утром при выходе из жилой зоны и при входе на рабочую площадку, вечером, наоборот, при выходе с рабочей площадки и при входе в жилую зону («Социализм — это учет», — шутили зеки). В дополнение еще поголовный обыск вечером перед воротами жилой зоны. И все это за счет времени нашего отдыха, что было особенно обидно. Всем, но только не Льву Николаевичу. Оказывается, и это время он использовал для работы над пассионарной теорией. Как-то раз в его присутствии я пожаловался на несчастную судьбу нашей бригады. Вон как соседней бригаде повезло: рабочая площадка у них рядом с жилой зоной, уходят они последними, приходят первыми. Сколько дополнительного времени для драгоценного отдыха!..

— Ну, это с какой точки зрения посмотреть на дело, — возразил Лев Николаевич. — Вы сетуете на длинную дорогу, а по-моему, это очень хорошая дорога. Я иду по ней с удовольствием. Представьте себе, что тот же путь мне пришлось бы пройти в одиночестве, без внимательной заботы и помощи со стороны наших друзей чекистов. Чем бы я был занят? Да в первую очередь самой дорогой! Не пропустить нужного поворота, разминуться со встречной телегой или машинной, обойти колдобину, не вляпаться, извините, в коровью лепешку. Да любая пролетающая ворона, собака, бегущая куда-то по своим делам, даже окружающий пейзаж — все это отвлекало бы, притягивало бы к себе мое внимание. Или лесная дорога, по которой мы сейчас ходим. Корневища, сучья, валежник, колея с водой... Гляди да гляди, отвлекайся, принимай решение... А сейчас — благодать! Гражданин начальник выбрал за меня дорогу. Куда идти, куда поворачивать, где останавливаться. Все продумал вышестоящий начальник. И под ноги смотреть незнач. Тот же товарищ раньше меня прошелся по дороге, отбросил сучки, заровнял колдобину, засыпал колею с водой. Обо всем позаботился... И вот я иду в колонне, в среднем ряду, кругом одни спины. Чего на них смотреть? Ритмичные, однообразные колебания, никакого окружающего фона. Идеальные условия сосредоточиться, уйти в свои мысли. Полтора часа туда, полтора обратно. Три часа для творческих размышлений! Это же настоящая удача! Если бы вы знали, сколько интересных мыслей приходит в голову во время этой дороги!.. Нет, дорогой, хороший объект выбрала нам судьба!..

Вот как получается! Для большинства — ненавистный рабский труд, постоянные мысли о пайке хлеба, о миске баланды, о нарах, на которых можно растянуться, да постоянное ощущение бессмысленно потраченного времени, впустую ушедших годов жизни...

Но есть, оказывается, и такие, что живут в другом мире, в другом физическом измерении. Для них существует мир, принадлежащий только им одним. Мир безграничных мыслей и необъятных возможностей, непрерывных открытий и изумительных новостей, неустанных поисков и радостных встреч. Что для них окружающая действительность с ее мелкими заботами и преходящими обстоятельствами? Они вынуждены ее терпеть, поскольку она существует и от нее никуда не денешься. Но при первой же возможности они стремятся в свой мир. Их место там...

Возможно, в будущем этому найдут объяснение. Что-нибудь вроде «эффекта раздвоения личности» какого-либо Паркинсона или «принципа совмещения личности» какого-нибудь Шмальгаузена. Когда одна часть личности живет и тратит свою энергию на видимую часть жизни, а другая составляющая личности обладает своим запасом энергии, включающимся в особые моменты перехода в другую, невидимую, область. Какой же запас жизненных сил и энергии может быть скрыт в одном человеке! Можно ли сделать так, чтобы таких людей стало больше? Именно больше, а не меньше. Потому что, как сократить их количество, очень хорошо знают те же большевики. Среди миллионов расстрелянных, загубленных голодом и непосильной работой сколько их было, этих нестандартных, необычных людей, первопроходцев в неведомое и открывателей нового.

Я уже упоминал о достаточно мирных взаимоотношениях Льва Николаевича с уголовниками. Об этом он сам рассказывал, вспоминая свой первый арест и первый лагерь. Ко всеобщему счастью, при повторном аресте, то есть тогда, когда мы очутились в одном лагере, в режиме содержания заключенных произошли важные изменения. Политических, иначе — 58-ю статью, отделили от уголовников, благодаря чему жизнь в лагере стала относительно сносной. Это особенно хорошо чувствовали и осознавали все те, кто имел за плечами печальный опыт отбывания срока в воровской среде. То был кошмар. Несомненно, разделение «овец и козлищ» благоприятно сказалось на творческих возможностях Льва Николаевича, а значит, появлению на свет Божий и пассионарной теории. Трудно представить себе, как бы он смог повернуть всю эту махину научной мысли, живя в прежних условиях лагеря. Пускай даже и при милостивом отношении к себе уголовников. Так что лубянский начальство косвенным образом помогло науке. Но сделало это, безусловно, случайно, а вовсе не из-за каких-нибудь альтруистических соображений. И очень скоро понял, что дало маху. Ведь все предыдущие десятилетия гулаговской системы уголовники были верными и незаменимыми помощниками по части осуществления принципа «разделяй и властвуй» в условиях тюремной и лагерной жизни и очень действенным орудием по ужесточению внутрелагерного террора в отношении 58-й статьи. Недаром уголовников иногда называли «социально близкими», каковыми они, по сути, и были.

Начальство решило дать задний ход...

Через какое-то время мы стали замечать, как то тут, то там появляются личности, очень нам хорошо знакомые по прежним лагерям, но совершенно отличные от теперешней массы зеков. Уголовники. Урки. Причем, несомненно, закоренелые. Рецидивисты. Но на перекличках по формулярам у них у всех — 58-я статья. Как это понимать? Неужели уголовники нравственно перековались и стали заниматься политикой?.. Трудно в такое поверить!.. Через некоторое время этот «ход конем» лубянского начальства был разгадан.

Во все предыдущие годы, когда уголовник оказывал милиции или другим органам власти сопротивление, включая и вооруженное, его судили по каким-то там статьям Уголовного кодекса (номера статей не знаю), но только не по 58-й. Поскольку все статьи, кроме 58-й, именовались «бытовыми», то такой уголовник на официальном языке числился «бытовиком» и отправлялся к своим одноклассникам-уголовникам в общие лагеря. Но с некоторых пор советские суды в подобных случаях стали осуждать по статье 58, пункт 8 — «контрреволюционный террор». И такого осужденного отправляли в спецлагерь к «политикам». Правда, получалась небольшая неувязочка. По статье 58, пункт 8 закон определял только одну меру наказания — расстрел. Но советский суд, руководствуясь известным правилом «закон что дышло — куда повернул, туда и вышло», давал срок десять лет, что по тем временам именовался «детским».

Впрочем, и такая пожарная мера, по существу, уже ничего не могла изменить в общей обстановке. Слишком много «контриков» находилось в спецлагерях и слишком мало уголовников могло быть подведено под 58-ю статью. Так что никаких изменений в жизни спецлагеря не произошло. Хотя изредка уголовники и пытались проявить активность, устраивая дебоши. Об одном таком случае с участием Льва Николаевича я и хочу рассказать. Хотя был он достаточно серьезным, в памяти остался событием скорей юмористическим, нежели драматическим.

Дело происходило в Камышлага, на строительстве города Междуреченска (Кемеровская область). На строительной площадке, где я активничал в должности старшего прораба, имелась канцелярия или строительная контора — необходимый атрибут любого советского производства. Заведение для пользы дела абсолютно не нужно, зато даввшее приют всяким нормировщикам, бухгалтерам, чертежникам и другой интеллигенции, в том числе и Льву Николаевичу на должности геолога. Употребляя классический лагерный жаргон — «придурки» чистой воды. Время шло своим чередом, и никаких особых событий не происходило. Я уже знал, что на стройплощадке работают несколько уголовников, но вели они себя тихо и ничем из общей массы не выделялись. Один их них, Мишка Коротаяев по кличке Пан, работал даже бригадиром, и у меня с ним установились вполне нормальные взаимоотношения. Другой был неприятнее. По фамилии Кальченко, по кличке Рябой, он, по слухам, относился к категории, как теперь говорят, лагерных авторитетов, или паханов. Но я тогда этим не интересовался и никаких контактов с ним не имел. Внешность его была неприятной: медвежья комплекция, рябой, с сильно

хрипатым голосом. Хрипатость, довольно распространенное свойство уголовников, — результат их привычки употреблять неразбавленный спирт вместо водки. Была у них такая манера, своего рода молодечество, — выпить стакан спирта без закуски. Последствия этих выходок были разнообразные, и хрипатость можно считать не самым печальным итогом.

День был самым обычным, я ходил по стройке, как вдруг прибегает связной из конторы и сообщает, что Рябой с ребятами бьет там «жидов»... Мало чего понимая в такой формулировке, зову с собой ребят крепче — и бегом к конторе. Около конторы уже собралась порядочная толпа зеков, а оттуда доносятся крики и какая-то стукотня... Врываюсь в первую комнату...

Тут работают двое. У одной стенки Федоров — крепко сложенный, лет пятидесяти с лишним, бывший есаул кубанского казачьего войска, офицер денкинской и врангелевской армий. При эвакуации белых ему не удалось присоединиться к своим, и позднее вдвоем с братом он бежал в Турцию, на рыбацкой лодке под парусом и веслами переплыл Черное море. В 1946 году в Париже имел глупость поверить клятвенным заверениям советского посла Богомолова о том, что «Родина вас простила», «Родина-мать вас ждет», вернулся в СССР — и тотчас же получил свои двадцать лет... Сейчас его, очевидно, атаковал уголовник по кличке Мыло, но Федоров загородился столом и встретил врага боксерским приемом прямой правой в переносицу. И вот Мыло стоит держась рукой за нос и отупело глядит на каплющую между пальцев кровь...

У противоположной стенки профессор славистики из Минска Матусевич уже проиграл начало схватки. Нападающий на него Мишка Коротаяев откинул стол в сторону и подобрался к Матусевичу вплотную. Но бывалого лагерника так просто голыми руками не возьмешь. Матусевич встал головой в угол, натянул на голову бушлат и подставил Коротаяеву свою ватную спину. Тому не оставалось ничего другого, как молотить кулачищем по бушлату: бум-бум-бум...

Поняв, что здесь ничего страшного не произойдет, устремляюсь в следующую большую комнату. О-о! Здесь дела много серьезней!.. Комната полна народу, несколько столов перевернуты, и по разбросанным по полу бумагам, папкам и книгам топчут ногами две группы борющихся. В центре одной из них — Кальченко. В руках у него топор. Человека четыре его держат. Кальченко дергается руками и всем корпусом, словно медведь, пытающийся сбросить с себя насевшую на него свору собак. А напротив него три-четыре человека держат не кого-нибудь, а Льва Николаевича!.. Схватка Давида с Голиафом! Сам Лев Николаевич олицетворяет собой Ярость и потому достоин кисти фламандцев! Кальченко на голову выше Гумилева. Из его телесной массы можно слепить по меньшей мере двух Гумилевых, но Лев Николаевич в атаке. Он подпрыгивает. Глаза его побелели. Губы искривлены от ярости. Рот ощерился зубами. Обе руки подняты вверх, и согнутые пальцы с порядочными ногтями нацелены в лицо, а может быть, и в глаза Кальченко... Трое с трудом удерживают Льва Николаевича и тем оберегают Кальченко от крупных неприятностей...

Случай этот завершается благополучно. Слишком малы силы уголовников, и, наоборот, подавляющая сила на стороне порядочных людей. Пожар страстей гаснет, не разгоревшись.

Вечером на нарах у того же Льва Николаевича происшествие подробно разбирается. Почему вдруг произошел такой небывалый в нашей жизни случай? Решили, что Кальченко и компания через вольнонаемных шоферов, привозящих на стройплощадку материалы, достали водку, напились и решили покуражиться. Алкогольные пары пробудили в их мозгах былые эмоции и двигательные навыки. Ну а необходимая мотивация оформилась не без влияния кое-кого из политических зеков. Во всяком случае, за годы моей совместной жизни с уголовной публикой в общем лагере я достаточно рассмотрел на всякие эксцессы с избиениями и поножовщиной, но ни разу не было случая, чтобы они сопровождались такого рода лозунгами. Что же касается того, что все закончилось так быстро и так благополучно, то тут сыграло роль не только решительное противодействие окружающих, но и нежелание самих инициаторов стычки слишком обострять ситуацию. Такой мастодонт, как Кальченко, да еще вооруженный топором, смог, если бы всерьез захотел, ох сколько наделать беды! И четыре человека, его державших, ничем бы тут не помогли. Он бы их раскидал, как когаты. Но делать этого не стал. Объяснение тут можно дать такое: в общем лагере, где уголовников было много, при вспышке у части из них разрушительных эмоций они, эти эмоции, быстро находили соответ-

ствующий отклик у других уголовников. Как говорят физики, система входила в резонанс, вызывая в итоге разрушительный результат. У нас же, в спецлагере, в нормальной психологической атмосфере нормальных людей получилось наоборот. Окружающая среда погасила, как струей огнетушителя, возникший пожар страстей, ограничив все эмоциональной встряской.

В бараке шла оживленная дискуссия:

— Лев Николаевич! А отчего это они все поперли в контору? А был ли мальчик в конторе, то бишь еврей? Я что-то такого не знал...

— Был, был мальчик. Зовут его Пинкус Ефим Маркович. Он около окна сидит. Когда эта гоп-компания ввалилась в контору, он очень мудро спрятался за шкаф...

— Выходит, разведка у Кальченко сработала как надо?

— И все-таки нападению подвергся не Пинкус, а Гумилев. Где тут логика?

— Да где вы ищите логику? У подобной публики логика и не ночевала. Бей, круши, что под руки попадется. Вот и вся логика.

— Но все-таки, — вставил и я свой вопрос, — все-таки странно. Если они собрались, как утверждают, «бить жидов», так и искали бы этого самого Ефима Марковича. Тем более если хорошо работает разведка. А то ведь напали на самых что ни на есть русских. Должно же быть объяснение такому казусу?

— Нападают, — ответил Лев Николаевич, — не по этническому признаку, а по признаку интеллигентности. Произошел трагический для России сдвиг в общественном сознании так называемых народных масс. До революции если «Черная сотня» собиралась бить жидов, то и громила еврейскую мелюзгу, а интеллигентных евреев не трогала. Интеллигенцию, всякую интеллигенцию, в те времена все уважали. Это после революции большевики извели русскую интеллигенцию до такой степени, что на виду остались преимущественно интеллигенты-евреи. И у людей произошло смещение понятий. Если он видит интеллигентное лицо, то искренне считает, что перед ним еврей. Русскую-то интеллигенцию он не видит. Так вот и получилось в данном случае с Кальченко... Только он получил отпор.

— Ну, такого, как Кальченко, едва ли можно научить хорошим манерам. Может случиться, что он повторит свой маневр.

— Ну уж нет! Если только этот тип еще раз обзовет меня жидом, я ему, — тут Лев Николаевич придает своему лицу зверское выражение, — я ему яйца обог'ву!..

Такая реплика вызывает общий восторг.

— О-о! У-у!

— А вы, Лев Николаевич, духарик почище самого Кальченко!

— Не из воровской ли малины вы сюда прибыли, Лев Николаевич?

— А что? — Лев Николаевич обводит всех торжествующим взглядом. — Я — старый лагерник, и кличка «фраер» ко мне никак не подходит. Так что, к общему сведению, я на три четверти блажной!..

— Правильно, Лев Николаевич! Не посралим знамя российской интеллигенции!..

Времена в ГУЛАГе изменились до такой степени, что на лагпункте организовали драматический кружок и к постановке приняли не что-нибудь, а «Ревизора» Гоголя. В этом начинании активно участвует и Лев Николаевич. Он выступает в роли зрителя училищ Хлопова. В сцене, когда Хлестаков предлагает ему сигарку, Лев Николаевич, изображая робость и сомнения Хлопова, обращается к зрительному залу:

— Бг'ать или не бг'ать?

И зрительный зал дружно ему отвечает:

— Бе'ги!.. Бе'ги!

...Биографии великих людей пишутся, как правило, много лет спустя после их смерти. Пишутся людьми, никогда в жизни их не видевшими. Это, наверное, правильно. Большое удобнее охватить взором на расстоянии. Совсем по-другому на выдающуюся личность смотрит его современник, в особенности тот, кто, подобно мне, провел с ним долгие годы в одном бараке. Тут на первый план в голову лезут всякие пустяки, каждодневная сутолока жизни. И никуда от этого не денешься. Впрочем, такой взгляд на вещи тоже правомерен и по-своему интересен. В конце концов, Пушкин остался Пушкиным, хотя и бражничал с друзьями-лицеистами.